



В. В. РОЗАНОВ

Открытое письмо к г. Алексею * Веселовскому

М. г.

Последнюю статью свою «Гоголь и Чаадаев» (в сентябрьской книжке «Вестника Европы») вы оканчиваете словами:

«...Приближается годовщина великой комедии и *многострадального* письма. Она наводит на грустные мысли...»

Потоком хлынули и у меня «грустные мысли», когда я прочитал эти заключительные строки.

Почему «многострадального» — письма и, вероятно, автора его? Чаадаева в течение нескольких недель посещал доктор и свидетельствовал его умственные способности — шутка более остроумная, чем отяготительная для «автора». Слава мелась по его следам, домелась до нашего времени и выразилась в робко-почтительных, жалостливо-прискорбных строках вашей статьи как последнем и не последнем эхо. Я припоминаю и еще жалобы о «страдальчестве» писателей, проживавших долгие годы не среди удовольствий «Северной Пальмиры», но более скромных радостей Саратова, Перми или еще каких мест.

Какая несправедливость, какой аристократизм духа! Почему *их* страдания, описанные, рассказанные, вылившиеся слезами типографской краски, — оценены, взвешены и негодование шумит вокруг них как некоторая мстительная память и почему тихие слезы, невидные, не взвешенные, но истинно горячие, — замечены в сор истории потому только, что они не

* На обложке «Вестника Европы» не обозначено полнее, даже инициалом, имя автора статьи «Гоголь и Чаадаев».

литературно выражены, что не были переданы в письме ни к какому знаменитому писателю и никогда не увидели «света»?

Как возмутительно!

Автор «Что делать?», томившийся — в Саратове кажется — и там безыменно переводивший многотомную историю Вебера, почтен, оплакан. Но сколько матерей, сколько отцов, в старости брошенных, были бы готовы не в Саратове, но где-нибудь в Обдорске или Соликамске, и не за книгой, а без всяких книг, провести годы гораздо более долгие, лишь бы не видеть растрепанною, разбитою, брошенною под ноги и растоптанною жизнь своих детей, которую до 15–17 лет они берегли, лелеяли, уже обдумывали для них будущность, и — пришел «литератор», написал своднический роман и поволок их соблазнительными софизмами и вещими снами куда-то в сторону. Я помню, в «Русской мысли» Шелгунов хвастался, что в статье «Жестокосердие женщин», или «Бессердечие женщины», он бросил укор в тех из них, которые, сидя в провинции около семей своих, оставляют «их» в Петербурге бороться изнемогая — вероятно, с какими-нибудь «мраками». Не в этих именно словах, но это именно писал он. И приводил письма, им полученные в ответ на обвинения, написанные со слезами...

Он не понимал, как не понимал Писарев, не понимали все «они», — что его роль в истории, положение в литературе, заслуга перед землей есть заслуга городской «барыньки», пришедшей на деревню посмотреть «девушек» и втихомолку, отведа их в сторону от родного дома, объяснить им, что есть места более приятные, занятия более легкие, чем каторжный труд над жнивом, и притом — где они будут ходить не в посконных сарафанах, но в шерстяных и даже в шелковых «принцессах»...

Они, эти писатели, — «не понимали». *Жестокое* дело, ими предпринятое, они совершали «по непониманию». Какое, однако, дело до их непонимания истории, жизни, *действительности*? Она ведь также хочет жить и вправе не страдать, по крайней мере от «неразумия». И, когда они рвутся причинить ей это страдание, она вправе защитить себя от них — их *предваряющим* страданием.

Я не о «Письме» Чаадаева говорю, которое было еще далеко от произведения подобного действия, и сам он «принял страдание» за него только в шуточной форме; я имею в виду аналогичные факты, я говорю о принципе.

Я ставлю открыто вопрос: насилие есть ли факт, правый перед мыслью, которая завтра поведет к насилию, сегодня приводит к страданиям?

Если «литература» не есть «жизнь», если она только эстетическое цекотание головных нервов, — не может быть спора об отрицательном ответе: ее «свобода», «нестесняемость» — безгранична в идее. Но в идее же отрицается всякая ее практическая значительность и она остается только садом «соловьев» и «роз». Ее мысль есть шутливая мысль, ее влияние — не больше чем опера, глядя на которую зрители плачут и потом спокойно расходятся ужинать и спать, потому что ведь «ничего не случилось».

Если же «литература» есть «жизнь» и она предваряет действие, как электричество земное и атмосферное предваряет грозу в ее световых и звуковых явлениях, — не может быть сомнения об утвердительном ответе на этот вопрос.

Только страданием, допущенным не как грубый факт, но как справедливая идея, как вечный принцип, — и практической готовностью принять и безмолвно перенести это страдание — может быть куплено литературой право вмешиваться в жизнь, влиять в ней, манить ее к одному, удерживать ее от другого. Ибо жизнь есть труд и страдание; и странно, цинично, безнравственно было бы «пахать» в ней — не запрягаясь, пожинать лавры, — не видя поднятого против себя меча...

Безнравственно — и *постыдно*.

Вы к этому постыдному маните; вы это постыдное зовете; вы требуете себе «Георгиев на шею», не понюхав порохового дыма.

Вы пишете в статье своей о «цензурных муках» (с. 84), испытанных «Ревизором» (какое же имя вы придумаете для «ощущений» отцов и матерей, побросанных «детьми» в 60-е годы?); вы смеетесь над «мнимым оскорблением национальной чести», «возмутившим» в письме Чаадаева «все общество»; говорите о «нетерпимости, злорадстве и жестокости» людей, «готовых счесть безумцем независимо мыслящего человека» (с. 85), — по поводу того же *письма*; наконец, вы изображаете:

«...Все негодовали, профаны и мудрецы, светские люди и служители церкви, дамы и литераторы; и необыкновенно долго держалось это негодование. Говорят, будто несколько студентов явилось тотчас по напечатании *письма* к попечителю округа с заявлением о готовности с оружием в руках отомстить за оскорбление, нанесенное всей России, а в редакцию «Телескопа» (где напечатано было *письмо*) — с грозным протестом против статьи. Натиск общественного мнения был так велик, что правительство, сначала как будто не особенно расположенное вмешиваться, — решилось на расправу; по крайней мере, Чаадаев, оглядываясь со временем на недавно миновавший *раз-*

гром*, считал возможным объяснить образ действий центральной власти сильным давлением со стороны общества» (с. 85).

Но ведь это значит только, что общество, так принявшее письмо Чаадаева, отнеслось к нему как живое и нравственное лицо; что оно было настолько вообще серьезно, так чутко в нравственном отношении, что не видело возможным и признавать одновременно правоту утверждений Чаадаева, и оставаться тем, чем было раньше, нап<имер сохранять православие (Чаадаев считает его *растленной* формой христианства)¹. Ведь это вы, вялый собиратель упавших колосьев на ниве истории, можете одновременно и восхищаться «Письмом» Чаадаева — без сомнения, видя в нем только красоту формы и некоторую литературную «знаменитость», — и оставаться чиновником своей империи и сыном своей церкви, — без сомнения, и в них видя только необходимый ритуал своего личного *habitus'a*. Но *те* люди, над которыми вы издеваетесь, не понимая ни их, ни вообще человеческого сердца, жили действительно, полною жизнью; для *них* церковь была некоторое живое утверждение, государство — некоторое любимое отечество и все прошлое этого отечества и этой церкви — нечто священное. Они не могли в течение одной недели, прочитав статейку в № 15 «Телескопа», вдруг перелицеваться — перестать любить все, что любили, и верить во все, во что верили (как этого косвенно требовал Чаадаев); а не будучи в состоянии это сделать, точнее — не находя нужным это делать, они восстали против «Письма» как против некоторой возмутительной клеветы на предмет своего культа, как на презренную ложь, вовсе не оправдываемую красотой стиля, в котором она была написана. На что же вы негодуете, чему вы тут удивляетесь? Горячностью своего протеста они опровергли лучше, чем каким-либо доводом, ложь чаадаевских фантазмагорий, по которым Россия представлялась какою-то холодной, бездушною глыбой Севера, где еще не зажглась живая жизнь истории, не теплилась вера, не было своего символа, утверждения. Под формулу Чаадаева о вере растленной, о жизни бездушной на Севере — подходите вы и ваши вялые слушатели в аудиториях *теперешнего* университета или не более раз-

* Какие все термины! «Арест, наложенный на Чаадаева, продолжался не более двух месяцев. Князь Д. В. Голицын выпросил ему у Государя свободу. Впрочем, ему и тогда не воспрещалось принимать у себя знакомых. Первым посетителем Чаадаева в *самый первый день опалы* был И. И. Дмитриев», пользовавшийся почетною известностью писатель и вместе сановный государственный человек (*Барсуков <Н. П. Жизнь и труды Погодина. 1847. Т. IV. С. 388.*

горяченные читатели статей ваших, о которых сатирик наших дней сказал, что «они почитывают», в то время как авторы «пописывают», — и все тем кончается, не мешая несколько пиццеварению. Мы *дóжили*, чего еще не мог предвидеть Чаадаев, до дней растленной веры; мы в них *вступаем*. Письмо Чаадаева нужно читать, как древние восточные манускрипты, от *конца к началу*, понимать его обратно тому, что он хотел в нем сказать, — о чем вы, в ограниченном самодовольстве своем, вовсе не догадываетесь.

Я упомянул о символе, о *credo*. Вы, кажется, читаете в университете историю, — итак, можете знать, что когда во Франции Карл X издал свои «ордонансы», между прочим ограничивавшие свободу печати, — печать призвала к оружию население Парижа, она не задумалась бросить Францию в мятеж, потому что был затронут один из членов ее символа: *свобода* мысли и ее выражения². Не правда ли, вы этого не будете порицать, прерогативы печати вам понятны? Как писатель и профессор, вы понимаете *credo* своего цеха и отрицаете, чтобы посторонняя, внешняя сила (государства или церкви) имела право его нарушать. Почему же, странный человек, вы отрицаете у страны, у народа, у государства право на свой символ, свое *credo* и на защиту его теми же материальными средствами, тем же грубым оружием, каким пользуетесь вы сами? И не забудьте, что этот символ, о котором я теперь говорю, вырабатывался два тысячелетия, что он охраняет будничную жизнь миллионов людей, спокойный сон отцов, чистоту детей, крепость семьи, живость веры, надежды за гробом. Все потрудилось для этого символа: соборы, церкви, искусство законодателей, испытания личные, разочарования семьи, «незримые слезы» и пот без имени живших и умерших людей. Все — мир и война, поэзия и наука, но главное все-таки, практика бесчисленных людских поколений, — вносило свою поправку в этот необозримый символ, обнимающий семью и церковь, совесть и быт, государство и человека, небо и землю. Как мал перед ним ваш символ в своей двухвековой молодости и обнимающий жизнь, оберегающий труд нескольких сотен «счастливых праздных». И если вы и ваш цех не порицаете поднятия оружия в защиту этого ничтожного символа, зачатого в салонах Louis XV, — как можете вы отвергнуть, что народы и страны с гораздо большим правом могут поднять оружие в защиту их символа, зародившегося у Креста Господня и еще ранее — в римском праве. Я говорю о возмутивших вас студентах, пришедших к такому-то дому и с таким-то требованием, и о не возмущающей вас рево-

люции июльской; я говорю о параллелизме этих явлений — и этот параллелизм простираю бесконечно далеко, и вы без труда можете последовать за моею мыслью и вывести бесчисленные последствия, какие отсюда вытекают...

Раньше чем вы успели не уважить этот древний исторический символ — общество, страна вправе не уважить ваш новый; и прежде чем в сатире, художественном образе, философском рассуждении вы успели доказать, что почтение к старшим несущественно, что права родителей сомнительны, обязанности детей проблематичны — я не говорю уже о большем, — общество вправе разорить ваш дом и, если вы сами не поторопились перебраться за Эйдкунен³, выбросить вас туда с вашей неинтересной для него философией и ненужной поэзией.

Я говорю, что идеальное право это сделать — у него есть; что оно его не применяет или применяет недостаточно только по милосердию, которого в вас нет, нет его в вашем цехе, не было в Чаадаеве, который среди общества, в котором появился, был наиболее груб, наименее деликатен и, применяя к нему его собственные мерки суждения, — наименее всех других культурен.

Всем известен критический суд, произнесенный над «Философическим письмом к г-же *» нашим несравненным Пушкиным. Менее известен по сравнению с ним однородный суд, какой косвенно, в чрезвычайно деликатной форме, произнес над этим «Письмом» другой светоч нашей культуры, великое имя нашей науки — Фед. Ив. Буслаев. Несравненный ум, обильнейший всяким научением, принесший родине драгоценные дары своего гения и с тем вместе самую Европу изучивший более глубоко и всесторонне, чем как это мог сделать метивший в «Периклеса» и «Брута» «офицер гусарского полка», — так пишет в своих прелестных «Воспоминаниях» о тех памятных днях 1836 года, когда появилось и зашумело знаменитое «Письмо»:

«...На университетском дворе, направо, у самых ворот, выходящих в Долгоруковский переулок, стояло тогда невысокое каменное здание, которое было занято квартирою ректора университета, Болдырева, профессора арабского и персидского языков, *очень доброго и всеми уважаемого*. Он был тогда человек уже пожилой, *очень любил молодого* профессора эстетики *Надеждина* и дал ему помещение у себя, а Надеждин, в свою очередь, в одной из своих комнат держал при себе *Белинского*, впоследствии ставшего знаменитым критиком, а тогда не более как студента, который, не кончив университетского курса, был сотрудником и правую рукой *Надеждина*, издававшего

в то время журнал “Телескоп”. Особенное удобство для этого издания состояло в том, что оно тут же, в стенах этого корпуса, и подвергалось цензуре, так как ректор Болдырев был вместе и цензором. Однажды вечером приходим мы в “Железный”*, опрометью бежит к нам Арсений** и вместо трех пар чаю подносит нам номер “Телескопа”. “Вот, — говорит, — вчера только что вышел: прелюбопытная статейка, все ее читают, удивляются; много всякого разговора”. Это была знаменитая статья Чаадаева. Мы, разумеется, тотчас же принялись ее читать. С того времени и до сих пор мне ни разу не случилось перечитать ее вновь, но помню и теперь из нее одну только фразу: “Россия приняла христианство из рук растленной Византии”. Дней через десять после этого у нас в номерах разнесся слух, что “Телескоп” запрещен и что ректору и Надеждину грозит великая беда. Я пользовался расположением субинспектора Степана Ивановича Клименкова и его жены Ольги Семеновны и был к ним вхож. Чтобы разузнать подробности дела, лучше всего было обратиться к ним. Ольга Семеновна *страшно взволнована, в слезах; говорит, сама захлебывается, жалеет Болдырева, негодует* на Надеждина, называет его предателем, злодеем. Она была очень дружна с Болдыревым, да и, кроме того, отличалась горячим и чувствительным, до раздражения, темпераментом, и теперь как было ей не раздражиться донельзя, когда сама она была свидетельницей преступления, которое вконец погубило ее друзей. Поуспокоившись немножко, вот что она мне рассказала. Дня за три до выхода в свет той книжки “Телескопа” она и Рагузина вечером играли в карты с Болдыревым. Болдырев очень любил по вечерам отдыхать от своих занятий, с большим удовольствием играя по маленькой с дамами. В этот вечер Надеждин не давал им покоя и все приставал к Болдыреву, чтобы он оставил карты и процenzуровал в корректурных листах одну статейку, которую надо завтра печатать, чтобы номер вышел в свое время, но Болдырев, увлекшись игрой, ему отказал и прогонял его от себя. Наконец согласились на том, что Болдырев будет продолжать игру с дамами и вместе прослушает статью — пусть читает сам Надеждин, — и тут же, во время карточной игры, на ломберном столе подписал одобрение к печати. Когда статья вышла в свет, оказалось, что все резкое в ней, *задирательное, пикантное* и вообще не дозволяемое цензурой, при чтении *Надеждин намеренно*

* Московский трактир.

** Половой.

пропускал. Зная, с каким увлечением по вечерам играет в карты Болдырев со своими соседками, Надеждин *умышленно устроил эту проделку*. Не замедлила из Петербурга и грозная резолюция по этому делу: Болдырева, как дурака, отрешить от службы, Надеждина, как мошенника, сослать из Москвы, а Чаадаева, как сумасшедшего, держать под строгим надзором, приставив к нему двух полицейских врачей для наблюдения за его здоровьем. Это сведение мне сообщила та же Клименкова» *.

В этом живом воспоминании⁴, где весь «случай» выступает на фоне действительности, в обстановке своих подробностей, «Письмо» не играет никакой роли. Буслаев не считает нужным что-нибудь разобрать в нем, даже — сопроводить его хотя бы легким критическим замечанием; он, 60-летний старец, светило своей науки, знаток своего предмета и его литературы, замечает только, что никогда не перечитывал этот любопытный для других памятник нашей словесности. И между тем он так восхищался гротовским изданием Державина, писал о судьбах романа как новейшей и всеобъемлющей формы нового литературного творчества, а в путевых заметках с живейшим интересом сообщает о сатирических картинках на Наполеона III, которые появлялись в Италии около 1870 года, и о других мелких и не мелких фактах жизни текущей и давно прошедшей, но всегда — жизни *живой*. (См. «Мои досуги» и в них — «Римские письма»).

Очевидно, он этому эффектному памятнику нашей словесности не придавал никакого значения. Он, возведший историю русского эпоса и народного искусства на степень науки в западноевропейском смысле, хорошо знал, *чем и как и каким содержанием* исписана русская душа, — та душа, которая Чаадаеву представлялась как *tabula rasa*; и его «ни разу не случилось вновь перечитывать» — звучит нам как единственный, смиренный в своей тихости и вместе уничтожающий ответ на знаменитое «Письмо».

И одновременно он живо и ярко изображает всю ту маленькую, незатейливую действительность, на фоне которой кичливо и самонадеянно выскочило это «Письмо»; он не забыл ни одного *отчества* милых людей, потерпевших в этой передраге, не забыл «захлебывающегося» рассказа взволнованной женщины, ни ломберного стола, ни вечерних утех старого ректора.

* Барсуков <Н. П.> Жизнь и труды Погодина. 1847. Т. IV. С. 386 и след.

Вся эта живая жизнь, без выдающегося, без героического, — очевидно, в сознании великого ученого (и вместе несравненно-го художника) носит в себе несравненно более цены и достоинства, она более заслуживает нашего почтения и любви, чем несколько печатных страниц рассуждений ума сухого и непроницательного, сердца бедного и недалекого, но ничего об этой своей недалекости не знающего*.



* Вот еще несколько дополняющих образ Чаадаева воспоминаний: «*Видя беду неминуемую (от напечатания «Письма»), Чаадаев признавался, что писал это «Письмо» по возвращении из чужих краев во время сумасшествия, в припадках которого он посягал на собственную жизнь, и старался свалить всю беду на журналиста и цензуру, на первого — потому, что он очаровал его и увлек его к дозволению отдать в печать статью, а на последнюю — за то, что пропустила оную. Это просто гадко; но что смешно — это скорбь его о том, что скажут о признании его умалишенным знаменитые его друзья и ученые — Баллаш, Ламенне, Гизо и другие».* (Д. Давыдов в письме к Пушкину; Барсуков. Там же. С. 389). Кажется, к этому прибавлять нечего (сравни выше с чистосердечным и мужественным негодованием Клименковой).